

Александр Бушуев

Если успеешь к поезду...

(рассказ о друге - с некоторыми скучными

профессиональными подробностями)

Однажды пере–перелил Судьбе и ненароком

Пошла родимая вразнос и изменила лик –

Хамила, безобразила и обернулась Роком

И, сзади прыгнув на меня, схватила за кадык..

В. Высоцкий

На одной из полок в моей библиотеке стоит неброская на вид, и вовсе не толстая – всего на четыре авторских листа, а это сто машинописных страниц, напечатанных через два интервала – книжица в мягком переплете зеленого цвета. На обложке – убегающие вдаль рельсы и концевой вагон уходящего поезда. И название «Кда кенерят поездти...» «Если успеешь к поезду...» – так переводится это на русский. И фамилия автора: Федор Пьянзин. И еще – очень дорогая мне дарственная надпись – «А.Бушуеву – Другу. Товарищу. Брату.» Год издания книги 1972. Я не владею мокшанским, но знаю ее содержание по подстрочнику перевода, тоже подаренному мне Федором...

...Год 1967-й. 2 сентября. Я неловко топчусь в приемной редактора Лямбирьской районной газеты «Призыв» Анатолия Федоровича Ежова. Приемная одновременно служит бухгалтерией и машинописным бюро. Женщины рассматривают меня беззастенчиво, я тушуюсь и отворачиваюсь к окну. За окном дождик. Самый, что ни на есть, осенний – мелкий противный и, судя по тучам, надолго. Ожидание затягивается. Из-за редакторской двери, наконец появляется светловолосый, сухощавый, ужасно некрасивый парень с кипой бумаг. Не обратив на меня ни малейшего внимания (я вежливо раскланялся), выходит. Машинистка довольно сурового вида неожиданно подмигивает мне и кивает на редакторскую дверь – заходи, мол...

Вхожу. Редактор за столом тоже светловолос, пожалуй, даже рыжеват. Круглолиц и красен – видимо предыдущий разговор был не из приятных, может, поэтому Ежов неприветлив:

– Работал в рузаевской «Заре коммунизма», говоришь?

Я промолчал.

– И что же это, дорогой мой, тебя к нам принесло? Далековато от родных палестин... – Он еще раз внимательно оглядел меня, особо покосился на реденькую бороденку, – пьешь, наверное. И уволен по собственному желанию...редактора, а?

Я что-то нескладно забормотал о проблемах в личной жизни.

– Молод ты для проблем в личной жизни, – заметил он достаточно ехидно. – Ну, ладно...
Дам тебе пробное задание...

Он задумался, почесал лысеющий затылок, наморщил лоб, поглядел в окно, за которым, не переставая, хлестал уже настоящий дождь, и ехидно-счастливо улыбнулся:

– Иди-ка ты в «Сельхозтехнику». Здесь недалеко... Выйдешь на Саранское шоссе и вниз-вниз... Километра два... Принесешь зарисовочку о человеке, о простом слесаре, скажем... О котором написать не стыдно... – и опять покосился на оконное стекло в водяных разводах, потом – на меня, явно ожидая реакции.

«Посмотрим, какой ты газетчик...» – было явно написано у него на лице, и также явно он ожидал моего отказа со ссылкой на погоду...

...Я шел по Лямбирю и вполголоса матюгался, что не помешало мне промокнуть по самое некуда. Пиджак тяжело облепил спину, рубашка – до нитки, в туфлях хлюпало...

В «Сельхозтехнику» я попал в самый обеденный перерыв. Ни в конторе, ни в цехах – ни единого человека, только в дальнем углу за трактором кто-то гремел железками. Я подошел и представился. Пожилой мужчина в аккуратном сатиновом халате, сожалеюще посмотрел на меня:

– Ну и работка у вас.... В такую-то погоду хороший хозяин собаку на улицу не выпустит. Видно, большая нужда, коли сейчас пришел...

Чем-то он располагал к себе – этот мужчина: то ли искренне сочувствующим тоном, то ли мягким выговором с непонятным мне акцентом. Говорил он по-русски чисто, но как-то странновато на слух.

– Белорус я,— догадался он о моих мыслях. – И зовут меня Кирилл Наумович Цареня...Ну, чем могу помочь?

– А как вы в Мордовии оказались? – другого вопроса я не смог придумать.

Мужчина улыбнулся, задумался на несколько секунд и поведал довольно—таки нехитрую историю о том, как его родители еще в первую мировую бежали от немцев вглубь России... Да так и остались здесь навсегда...

А потом потек неторопливый разговор о делах производственных: о том, что трактористы за техникой плохо следят, о нехватке запчастей, дизельного топлива, о том, как трудно в страду приходится... Меж деловым разговором задал я несколько вопросов о личной жизни, узнал, что Кирилл Наумович – передовик... и, наплевав на так и не появившееся начальство, ушел в редакцию. Белобрысый парень, с которым я утром встретился у редакторского кабинета, коротко бросил:

– Садись. Отпишешься – на машинку, к Раисе Ивановне. Сдашь мне материал к 4... Ну, к пол—пятому,— и, уходя, добавил:

– Пиджак—то на стул повесь, провянет, а рубашку выжми...

Я сел за стол в пустом кабинете, подвинул к себе чернильницу—непроливайку (шариковые авторучки только—только начали появляться в нашей республике) и, разбрызгивая чернила, решительно вывел первую строчку.

Через два часа материал был готов и отпечатан. Я занес его к Ежову.

– Пусть Пьянзин посмотрит, одобрит – будешь работать. Не одобрит – извини...

Пьянзиным и оказался тот самый белобрысый парень, ютившийся в самом маленьком кабинете. Тот прочел на удивление быстро, отложил машинопись, открыл дверку письменного стола, вынул стакан, только что початую бутылку перцовки и надкушенное яблоко. Налил полстакана:

– Пей!

«Проверяет...» – мелькнула в голове мысль, и я решительно отодвинул спиртное.

– Не пьешь? – казалось, удивился Пьянзин. – Ну, в таком случае ты у нас не приживешься...

Я начал бормотать о том, что я вообще–то пью, но не пью исключительно в рабочее время и вообще на рабочем месте...

Федор кивал, слушая мое косноязычие, успев при этом выпить пресловутые полстакана и пожевав яблоко. Смотрел он при этом на меня явно неодобрительно.

Я вздохнул, помялся–помялся, взял поллитровку и набулькал себе полный стакан. Федя молча смотрел на мои манипуляции. Жажнув стакан, я утер рот обшлагом мокрого пиджака.

– Приживешься, – констатировал Пьянзин и решительно написал на моем материале «В набор, 2–я полоса, петит полужирный, 2,5 квадрата»

Признаться, слова «петит» и «2,5 квадрата» были для меня китайской грамотой – в «Заре коммунизма» кабинет ответственного секретаря находился не в редакции, а в типографии и, естественно, полиграфического «языка» я не знал.

– «Свежей головой» был?– спросил меня Федя.

– Был,– я знал, что столь мудрено называется просто дежурный по номеру, подписывающий газету после корректорской правки и «в печать», и «свет».

– Вот завтра и подежуришь, можешь приехать к обеду. Мы подписываем номер поздно,– он ухмыльнулся,– а иногда рано...

Назавтра выяснилось значение слова «рано». Это означало – утром – часа в четыре после полуночи, - в день выхода номера. (Такова уж тогда была технология. Готов держать пари, что практически все теперешние дизайнеры–верстальщики не знают не только полиграфического жаргона в целом, но и отдельных, специальных «рабочих» слов)...

Так я познакомился с Федором Пьянзиным. Федором Федоровичем.

Он работал ответственным секретарем газеты (очень прошу не путать с должностью простого секретаря). Ответственный секретарь редакции – это, выражаясь языком военных, начальник штаба, который осуществляет оперативное руководство «текущим» номером, занимается литературной правкой, обладает правом «вето», делает макет номера, затыкает «дыры». А в час «пик» – вообще главный человек. А кроме того – «поилец–кормилец», ибо только он ведет «разметку» гонорара. По внутренней газетной иерархии – второй человек в редакции, его должность расценивалась выше должности заместителя редактора. Но Пьянзин, отдавая редактору право «царствовать», руководил.

Руководил очень жестко. Любой работник, приехав в колхоз или совхоз в командировку, был просто обязан через три часа по телефону передать в редакцию подборку информационных материалов по всем отделам, а вернувшись в стены родного коллектива, «отписаться» по заранее определенному плану–заданию. Бывало порой, что корреспондент, отдиктовывал машинистке материал «набело» – прямо с блокнота. И Боже тебя упаси, не успеть в срок! Наказывал Федя рублем, то есть размечал гонорар

по самой низкой шкале гонорарной сетки. Он вел строгий учет количества сданных материалов. – Дневная норма в те времена составляла 250 строк – это 4 машинописных листа. Причем 60 процентов этих строк должны были быть организованными. На практике это выглядело так: пишет корреспондент материал, допустим о зимовке скота строк эдак на 150, а подпись ставит зоотехника хозяйства, из которого приехал. (гонорар, естественно, «шел» зоотехнику). И любые материалы правил он нещадно. Русский язык знал великолепно. И не просто знал – он язык чувствовал. Материалы, написанные им самим, до сих пор хранятся у меня в домашнем архиве. Перечитываю их спустя пятьдесят лет и наслаждаюсь «слепленными» фразами – порой очень короткими, но очень емкими. Даже редактор – человек самолюбивый и по должности, и по характеру – никогда не возражал, не спорил, когда Федор возвращал ему на переделку исчерченные страницы. Только сокрушенно качал головой и полушутя говорил:

– Федя, мне как мордвину – скидка...

– Я тоже мордвин, – Пьянзин был неумолим. – И Начаркин – мордвин, и Чендырев, и Колесов. А Лиля Морозова и Асым Кудраев – татары, Таня Корытная – вообще не поймешь какой национальности : то ли еврейка, то ли – болгарка... Лишь Медведев с Бушуевым русские. Но правлю всех. Несмотря ни на национальность, ни на возраст, ни на должность...

Словом, Пьянзин был диктатором.

И если не сдал ты эти строчки, бесполезно было доказывать Федору, что не застал в колхозе нужного специалиста, или опоздал на автобус, или так гостеприимно встретили тебя в хозяйстве, что в редакцию ты явился «ако можаху» и по причине сей не мог отписаться. «Сначала дело, потом – водка» – было его девизом, который мы строго исполняли. И сам он, естественно, – тоже.

Но все–таки, выпивали мы часто. Гораздо чаще, чем следовало бы...

Напомню, что это было в 1967–ом, в год 50–летия Великой Октябрьской Социалистической Революции.

К этому празднику все трудовые коллективы рапортовали о досрочном выполнении и перевыполнении всяческих планов, за что получали соответствующие награды: Красные знамена, грамоты, значки и дипломы. А где награды – там и застолье. А застолья, скажу я вам, выше всяких похвал, алкоголь же – рекой лился. И все в присутствии начальства – и райкомовского и райисполкомовского. Да и начальство (справедливости ради, скажу – были исключения) за воротничок заложить не прочь было. Так что водочный запашок в рабочее время никого не удивлял, и недопитая бутылка на подоконнике – тоже.

Федя пил исключительно перцовку. Она продавалась в буфете столовой по 2 рубля 52 копейки. 40 копеек так называемой ресторанной наценки. Причем, никто в коллективе ни разу видел, чтобы Федя покупал бутылку. Перцовка была у него всегда – и рано утром и поздно вечером. Казалось, она у него не переводилась, так что любой алчущий, но не имеющий на что опохмелиться, мог рассчитывать на Федину доброту. Правда, расплачивались с ним всегда тоже перцовкой. Из-за перцовой же и приключился с Федором и со мной казус, который мог бы закончиться печально.

4 ноября 1967 года делался праздничный номер, посвященный 50-летию революции. И делался он в республиканской типографии «Красный Октябрь». «Вели» его мы вдвоем с Федей. На первой полосе должна была быть заверстана большая фотография Л.И. Брежнева. Клише официальных лиц СССР в районные газеты рассылало «Фото-Тасс». («Тасс» – это телеграфное агентство Советского Союза, в газетном просторечии именовавшееся просто тетей Тасей). – Фирма солидная, уважаемая и уважаемая заслуженно, всегда выполняла свою работу высокопрофессионально, а это, как на грех, клише генсека оказалось шире стандартного на полквadrата (9мм) и из-за этого последняя колонка «выламывалась» из полосы (Была шире положенных 2,12 квадрата). Мы с Федей, досрочно встречавшие великий праздник, были уже «зело подпихом», и, не мудрствуя лукаво, решили обрезать клише Брежнева до стандартной величины, чтобы у нас на полосе получался классический шестиколонник, что и требовалось доказать... Мы отправились в механический цех, где стояли гильотины и вместо того, чтобы обрезать клише с двух сторон (по 12 пунктов каждую), отмахнули лишнее на 24 пункта с одной – правой стороны и...обрезали один из многочисленных орденов Брежнева ровно на половину. Цензура – она называлась ОБЛЛИТ – просмотрела наш «грех», шлепнула штамп о разрешении на печать. Газету отпечатали, рано утром привезли в Лямбирь, отправили на почту и, как всегда, несколько экземпляров в райком партии. Кто углядел полиграфический брак, я не знаю и до сих пор – спустя пятьдесят с лишним лет. Но углядели и... дернули редактора на ковер к Исмаилу Исхаковичу Сяфукову – второму секретарю райкома, ведавшему пропагандой.

Из райкома Ежов приехал в состоянии близком к освирепению и вызвал нас с Федей. Скандал был жуткий. Ненормативную лексику нашего редактора, наверное, было слышно в Саранске... В итоге меня с позором вышибли из комсомола, а Федя ...получил премию... Потому что в тот же день из оргкомитета Всесоюзного конкурса городских и районных газет на лучшее полиграфическое исполнение в адрес нашей редакции пришел поощрительный диплом и денежная премия ответственному секретарю. Помню, мы заняли 72 место из 14000 представленных на конкурс газет. По этому поводу был праздник с соответствующим застольем. Когда в этом застолье наступил период вселенской любви, дружбы и всепрощенья, я попросил Федора научить меня делать макеты газетных номеров. Мне в самом деле была интересна эта и техническая, и творческая работа. Он не стал ломаться и согласился сразу:

– Только учти, окажешься твердолобым – сразу строкомером по пальцам...

Я расценил это как шутку.

Учеба началась прямо на следующий день. Федор положил передо мной кипу машинописных материалов, пустой бланк макета и строкомер.

– Главное в работе секретаря увидеть расположение материалов, их сочетание сразу всех на пустом бланке, определить для каждого материала – даже маленькой заметочки – подходящую гарнитуру и кегль шрифта. Учись «играть» сочетанием гарнитур (начертаний). Необязателен мелкий заголовочный шрифт на информашку из десятка строк. Если содержание важное, то к этим 10 строкам дай на контраст 48 «Ревилон». Этим ты не только привлечешь внимание читателя именно к информации, но и анонсируешь размером заголовка ее важность. А если материал «проходной» – «из железного фонда» выставь кегль поменьше, хотя бы 24–й. Читатель сразу поймет – материал не заслуживает особого внимания. Теперь о фотографиях. Запомни раз и на всю жизнь – нельзя заверстывать клише под «обрез» полосы. Под снимком обязательны хотя бы несколько строк. И никогда лицо человека на фотографии не должно смотреть «из полосы», а только в текст. И, на сегодня, последнее – чтобы объемный материал, заверстаный сверху не давил на мелкий материал внизу, дай «крупняк» светлым шрифтом, а мелочь – полужирным... К вечеру принесешь мне несколько вариантов одной полосы вот из этого набора материалов.– Федор ухмыльнулся и скрылся за дверью. А для меня началась каторга. Никак не получалась у меня «легкость», «воздушность» – все материалы «топорщились», не умещались в отведенном месте и все было некрасиво, не хотелось брать макет в руки – потому, что он не привлекал внимания. Вечером Пьянзин небрежно перелистал мои творения, скомкал, словно

собираясь выбросить, но потом передумал – тщательно расправил вычерченные мною бланки макетов и обреченно вздохнул:

– Давай–ка, проведем работу над ошибками - как в школе,– увидел мое расстроенное лицо, похлопал по плечу.– Не кисни... Бери карандаш, бланк – начнем все сначала...

И я начал сначала, внимательно ловил либо одобрительные взгляды, либо – с насмешливым прищуром. А подсказывал он только тогда, когда я оказывался в явном тупике, требуя, чтобы я сам нащупывал и находил верное решение.

...Месяца через два он доверил мне смакетировать целиком весь номер, который без единой собственной правки отправил в типографию и ...наградил неременным стаканом перцовки.

Но обучение на этом не закончилось, Федор продолжал открывать мне тайны и законы (писанные и неписанные) полиграфии, пожалуй еще месяца два, не жалея при этом язвительных определений в мой адрес при малейшей ошибке. А однажды действительно ударил меня строкомером по пальцам, когда один из материалов я заверстал «сапогом». Пальцы покраснели, распухли и болели недели две. Зато этот урок я усвоил на всю жизнь.

В конце апреля 1968–го он торжественно вручил мне свой никелированный строкомер:

– Владей! – и пояснил,– у меня еще есть...

А еще через пару дней мы с недоумением узнали, что он подал заявление об уходе. Зачем и почему, мы узнали в его последний день работы в нашем коллективе. Оказывается он решил учиться, и ни где–нибудь, а в знаменитом Литературном институте имени Горького, где ежегодно набирали только 30 человек, и куда можно было попасть или по целевому правительственному или обкомовскому направлению, или по очень большому благу, или благодаря таланту. Федя не имел ни блага, ни направления. Просто собрался и уехал в Москву. И поступил! На дневное отделение!

Было ему тогда 28 лет и «на плечах» висели алименты, которые он выплачивал малолетней дочери.

Как он учился долгие пять лет, я узнал много позже – в 1973–ем.

Утром ходил на занятия, а ночью работал истопником в котельной, сторожем, дворником. Жил в студенческом общежитии, на стене которого кто-то масляной краской старательно выписал «Литринститут». Что говорить, попивали будущие классики здорово. Особенно, когда в общагу к молодым аварцам приезжал Расул Гамзатов, по протекции которого дагестанцы и учились. Вино лилось рекой по 2–3 дня. Некоторые преподаватели в те дни, когда гостил дагестанский поэт, даже не выходили на работу, зная заранее, что аудитории будут пусты. С сожалением рассказывал Федор о запоях Виля Липатова, известного советского писателя, автора романов «И этот все о нем» (По роману снят один из первых советских многосерийных фильмов с Евгением Леоновым в главной роли) и «Серая Мышь».

Трудное студенчество было у «упертого» мордовского парня. Не следует забывать, что алименты он все-таки умудрялся платить.

Тогда-то в 73–ем он и подарил мне книжку «Кда кенерят поездти...» «Если успеешь к поезду...». Я прочитал подстрочник, порадовался за товарища, что он вошел в республиканскую литературу, отложил книгу и (стыжусь) забыл о ней. И вспомнив однажды, перебирая книжные шкафы, взял к руки. Прочитал вновь – «Если успеешь к поезду» и поразился: настолько всеобъемлющим мне показалось название! Действительно: забыл позвонить по телефону – не успел к поезду, вовремя не купил сигарет – опоздал к поезду, не встретил с работы жену – не успел к поезду, не поздравил друга с Днем рожденья – не успел к поезду... Можно привести еще массу примеров...

В конце семидесятых–начале восьмидесятых он жил в родном селе Сарга Старо-Шайговского района в маленьком ветшавшем доме недалеко от окраины. Жил личным подворьем – у него было 25 соток земли, полисадник. Сажал картошку, капусту, лук, свеклу, держал кур. Покупал только хлеб и дешевую карамель, с которой пил чай. В палисаднике у него росли цветы. Он любил садовые ромашки. Я приезжал к нему в гости

осенью. Утром мы топили дровами печь и садились работать – писали, печатали. Ближе к обеду он спрашивал:

– Суп с грибами варить будем?

– Давай...

– Ну, иди – коси.

Я брал косу – «семерку» – выходил к палисаднику, вокруг которого росли в несусветном количестве осенние опята. Накосив ведро, возвращался. Часть опят шла на суп, часть на засушку. И так – каждый день. После обеда часа два лежали, уткнув носы в книги. Все четыре стены в большой комнате были уставлены у него самодельными стеллажами с книгами. Это был рай! Вечером – опять работа. И так – дней десять. Потом я уезжал, и все время тосковал по его маленькому сельцу и ждал новой осени...

В девяностые мы как-то «потеряли» друг друга, лишь изредка перезванивались. А в двухтысячные я совсем потерял его из виду. В журнале «Мокша», где он работал последнее время, мне не смогли сказать, куда исчез Федор.

Я отправил письма по всем адресам, где он мог проживать... Через полгода пришло письмо – адрес на конверте смутно напоминал прежний Федин почерк. Но еще больше меня смутил адрес отправителя – Старошайговский дом–интернат для инвалидов и престарелых. Вскрыл конверт. Почерк дрожащий, чувствовалось, что человеку было трудно держать ручку. Письмо короткое – спасибо односельчанам, что переслали твое письмо мне, спасибо, что не забыл меня. Живу нормально, все хорошо. И в конце так хорошо знакомая мне роспись: Ф.Пьян...

Практически через неделю я приехал в Старое Шайгово, собрав маленький продуктовый набор, не забыв при этом любимую Федину перцовку. Интернат (да что там лукавить – дом престарелых) недалеко от въезда в райцентр: просто свернуть с центральной дороги влево и метров через 30 в реденьком ельничке – комплекс зданий больницы и

интерната.

– Так вам Федора Федоровича? – переспросила меня какая-то пожилая женщина в стареньком, но аккуратно отстиранном и выглаженном халате, когда я спросил Пынзина, назвав его по фамилии, – вторая палата справа...

Я не стал стучать, а сразу ворвался в комнату – думал, это окажется для моего друга приятным сюрпризом.

Продолговатая маленькая комнатка – почему-то она у меня ассоциировалась с вагонным купе, две кровати – одна за другой, тумбочка, платяной шкаф, у окна – маленький журнальный столик с небрежно брошенной на него книжицей в тонком переплете. Федор лежал на кровати, подмостив под голову маленькую, словно для куклы сшитую, подушку. Увидев меня, приподнялся:

– Бушуев? – спросил без всякого удивления, скорее-равнодушно, – встал с койки, обул тапочки, протянул руку:

– Ну, здравствуй.., – а в глазах что-то непонятное и, как мне показалось, – дай Бог, чтобы я ошибся – презрение:

«Ну да, вот такой я – инвалид, калека, – прочитал в них с ужасом, – а ты, значит, приехал облагодетельствовать...»

Я онемел, и от растерянности стал торопливо выгружать из пакета продукты, торжественно подал ему бутылку перцовки.

Он отрицательно покачал головой:

– Не пью.

– Даже перцовку?

– Даже перцовку...

– Ты давно здесь?

– Девять лет.

– Д-е-в-я-т-ь...

Да, девять...– чувствовалось, что ему трудно стоять, но он не хотел снова ложиться, чтобы не показать слабости.

У него было одутловатое лицо, мутноватые глаза, отекавшие руки. Я смотрел на него и не узнавал. Он молчал. Я – тоже, хотя многое хотел рассказать ему:

О том, что тоже уже на пенсии, о том, что играю с пятилетним внуком вдогонялки, мечтаю написать воспоминания о нашей с ним редакции, о каждом из работников, о том, что помню, как он бил меня строкомером по пальцам и о том, что этот строкомер стоит у меня в стаканчике для карандашей на письменном столе... Но не рассказал... Понял, что ему будет неинтересно... Вместо этого спросил:

– Что-нибудь пишешь?

Он отрицательно покачал головой:

– Даже читать не могу. – Глаукома. И еще вот..– он вытянул дрожащие руки,– и вот..– указал на неестественно большой живот,– грыжа...

– Ее же оперируют,– почти закричал я,– и глаукому...

– А зачем?– и голосе – прежнее равнодушие.

И снова тишина повисла в маленькой – вытянутой, похожей на вагонное купе, комнате. Он первый нарушил молчание:

– Пойдем покурим...

Мы вышли на улицу. Я вытащил из кармана сигареты.

Он отвел мою руку:

– С фильтром не курю,– вынул пачку «Примы», аккуратно разломил сигарету, половинку положил в пачку, вторую – вставил в старый обгрызенный мундштук, затянулся пару раз, закашлялся. Затушил окурок о ладонь и тоже аккуратно положил в пачку:

– Хочу курить, а не могу, вот здесь болит,– указал пальцем на грудь.

Мы снова замолчали. Я почти физически ощущал невидимую стену, которую Федор выстроил между нами. Он подтолкнул меня в спину:

– Ступай...

Как сомнамбула, на деревянных ногах я спустился с крыльца и тут в спину мне ударило:

– И больше не приезжай! Понял!? – и вдогонку – еще больнее:

– Прощай!

Я остановился, прислонился спиной к шершавой коре дерева, попробовал вдохнуть полной грудью – не получилось... Положил под язык таблетку нитроглицерина.

И вдруг резануло по душе воспоминание из детства.

У моей бабушки в Голицыне, куда я приезжал в летние или зимние каникулы, была старенькая кошка Любка. Она уже не приносила потомства, еле ходила по комнате на дрожащих лапах. Зимой она лежала у «буржуйки», раскаленной до синевы, иногда нехотя слизывала молоко, которое мы наливали прямо перед ней на пол, а летом любила лежать на подоконнике. Она подходила к окну, поднимала голову и стояла – ждала когда я подниму ее и положу к стеклу, залитому солнцем.

– Недолго уж нашей Любоньке осталось, – говорила в таких случаях бабушка.

– Что недолго? – спрашивал я

– Недолго... – и больше ничего не говорила.

Я любил эту беспородную, старую кошку. Она умела лечить мои детские ссадины и болячки. Вечером, когда я ложился спать, она подходила, поднимала голову и беззвучно мяукала. Я осторожно поднимал ее с пола и укладывал рядом. Она каким-то чутьем угадывала мою свежую ссадину или ушиб и прижималась к больному месту спиной. И боль отступала – постепенно, медленно, а потом и совсем уходила. Утром я вставал и первым делом укладывал Любку на подоконник. Она, наверное, в знак благодарности, мягко лизала мою руку, а я гладил ее поредевшую и выцветшую шерсть...

Но однажды я проснулся и не обнаружил ее рядом с собой.

– А где Любка?– спросил я, протирая глаза.

– Ушла наша Любонька,– ответила бабушка, – ночью ушла, тихонечко, никого не беспокоила.

– Куда ушла? Как ушла? – не понял я.

– Помирать пошла... – бабка вытерла глаза концом фартука.– Кошки перед смертью всегда из дома уходят. Чтобы помереть в одиночестве... Чтобы, значит, людей не расстраивать...

Через два дня я нашел Любку в густых лопухах на краю картофельного поля. Она лежала, откинув хвост и вытянувшись хлыстом. Глаза ее остекленели.

Прошло больше пятидесяти лет, но я не помню, плакал ли я когда горше, чем в тот день...

Нитроглицерин никак не мог утихомирить боль, рвавшую сердце: «Это что же? Это

выходит Федя сам, добровольно ушел от родных, близких, знакомых, друзей... Сам! Зачем?! От солнца, от надоедливой, но такой необходимой суеты, от красивых женщин на улицах, от смеющихся детей... В этот, замкнутый в ельнике, мирок комнаты, похожей на купе, в мирок вежливых, но – по большому счету – равнодушных белых халатов, зачем..? Неужели..? – я не стал додумывать мысль до конца... Не хотел додумывать...

Ровно, почти неслышно гудел мотор, мягко и равнодушно шуршали шины по асфальтированной дороге, а я думал, что приеду к Феде еще раз... И еще... И еще... Вот только разгребу повседневную текучку, подлечусь немного и приеду... И мы все–таки выпьем с ним столь любимой когда–то перцовки...

А в висках живчиком билось:

«Если успеешь к поезду... Если успеешь к поезду... Если успеешь к поезду...»